

Я была в великой славе, испытала
величайшее бесславие — и убедилась,
что, в сущности, это одно и то же.

Ахматова Анна Андреевна

АХМАТОВА И ЦВЕТАЕВА

Есть люди определенной
эпохи, и есть эпохи,
воплощающиеся в людях.

Цветаева Марина Ивановна

Уникальные биографии

Анна Ахматова

Ахматова и Цветаева

«Издательство АСТ»

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6

Ахматова А. А.

Ахматова и Цветаева / А. А. Ахматова — «Издательство АСТ»,
— (Уникальные биографии)

ISBN 978-5-17-099976-7

Анна Андреевна Ахматова и Марина Ивановна Цветаева – великие поэтессы, чей взор на протяжении всей жизни был устремлен «вглубь», а не «вовне». Поэтессы, писатели, литературоведы – одни из наиболее значимых фигур русской литературы XX века. Перед вами дневники Анны Ахматовой – самой страдавшей русской поэтессы. Чем была наполнена ее жизнь: раздутым драматизмом или искренними переживаниями? Книга раскроет все тайны ее отношений с сыном и мужем и секреты ее многочисленных романов. Откровенные воспоминания Лидии Чуковской, Николая и Льва Гумилевых прольют свет на неоднозначную личность Ахматовой и расскажут, какой ценой любимая всем миром поэтесса создавала себе биографию. «Живу до тошноты» – дневниковая проза Марины Цветаевой. Она написана с неподдельной искренностью, объяснение которой Иосиф Бродский находил в духовной мощи, обретенной путем претерпеваний: «Цветаева, действительно, самый искренний русский поэт, но искренность эта, прежде всего, есть искренность звука – как когда кричат от боли».

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-17-099976-7

© Ахматова А. А.
© Издательство АСТ

Содержание

Анна Ахматова	7
Предисловие	7
Свидетельство о крещении	12
Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»	12
Одна из приятельниц Андрея Антоновича Горенко	13
свидетельствует	
Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»	13
Дом Шухардиной	16
Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»	18
Дикая девочка	21
Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»	21
Аттестат	21
В. С. Срезневская. «Воспоминания»	23
Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»	23
В. С. Срезневская. «Воспоминания»	24
Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»	25
1	26
2	27
4	27
5	28
6	28
7	29
8	29
9	30
10	30
Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»	31
Г. И. Чулков. «Годы странствий»	34
Лидия Чуковская. «Записки об Анне Ахматовой»	35
Разъяснение одного недоразумения	36
Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»	36
Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»	39
Слепнево	42
Березы	44
Лидия Чуковская. «Записки об Анне Ахматовой»	44
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Анна Ахматова
Я научила женщин говорить
Марина Цветаева
Живу до тошноты

© Мнухин Л. А.

© ФГУП «МИА «Россия сегодня»»

© ООО «Издательство АСТ»

Анна Ахматова Я научила женщин говорить

Предисловие

«Тут я подумала: один безумный поэт – хорошо, два – плохо»

Цветаева и Ахматова – такие разные и такие похожие.

По возрасту – Ахматова старше всего на три года: она родилась в 1889 году, а Цветаева – в 1892-м. По неординарности – им обоим нет равных. По биографии – пережили с родиной самые страшные годы Гражданской войны, Революции, Великой Отечественной (правда, Цветаева, «захватила» только два месяца). По женской судьбе – были любимыми, были брошенными, сами влюблялись и бросали, пережили тюрьму и расстрел любимых мужчин, рожали и теряли. По характеру – железные и нежные, страстные и холодные, ранимые и жесткие. По уму – мудрые и эрудированные. По кругу общения – их окружали все «звезды» отечественной литературы начала и середины XX века: Николай Гумилев, Корней и Лидия Чуковские, Сергей Есенин, Александр Блок, Борис Пастернак, Осип Мандельштам, Михаил Булгаков, Фаина Раневская, Иосиф Бродский. По признанию – гонимые и шельмованные «родной» советской властью, но вознесенные до небес настоящими ценителями искусства во всем мире. По жизни же – несчастные и трагичные вечные скиталицы, равнодушные к вещам и суете. Разница только – в датах смерти: Ахматова пережила Цветаеву почти на тридцать лет.

А как они сами относились друг к другу? По свидетельствам современников, 23-летняя Цветаева была в восторге от поэзии Ахматовой: в стихах и письмах она признавалась ей в самой настоящей любви! Анну Андреевну это очень смущало, но, как рассказывал Осип Мандельштам, Ахматова в 1916–1917 годах не расставалась с рукописными стихами Цветаевой и «до того доносила их в сумочке, что одни складки и трещины остались». Вот какие строки, датированные 11 февраля 1915 года, посвятила Цветаева Анне Андреевне:

«Узкий, нерусский стан —
Над фолиантами.
Шаль из турецких стран
Пала, как мантия.
Вас передашь одной
Ломаной линией.
Холод – в весельи, зной —
В Вашем унынии.
Вся Ваша жизнь – озноб.
И завершится – чем она?
Облачный темный лоб
Юного демона.
Каждого из земных
Вам заиграть – безделица.
И безоружный стих
В сердце нам целится.
В утренний сонный час,
Кажется, четверть пятого,

Я полюбила Вас,
Анна Ахматова».

«Все о себе, все о любви», – писала Цветаева в своих записных книжках, датированных 1917 годом, рассуждая об ахматовской поэзии. – Да, о себе, о любви – и еще – изумительно – о серебряном голосе оленя, о неярких просторах Рязанской губернии, о смуглых главах Херсонесского храма, о красном кленовом листе, заложенном на Песни Песней, о воздухе, «подарке Божьем»... и так без конца... И есть у нее одно 8-стишие о юном Пушкине, которое покрывает все изыскания всех его биографов.

Ахматова пишет о себе – о вечном. И Ахматова, не написав ни одной отвлеченно-общественной строчки, глубже всего – через описание пера на шляпе – передаст потомкам свой век... О маленькой книжке Ахматовой можно написать десять томов. И ничего не прибавишь... Какой трудный и соблазнительный подарок поэтов – Анна Ахматова!»

С восторгом и страстью обращалась Цветаева к Ахматовой и в своих письмах: *«Дорогая Анна Андреевна! Так много нужно сказать – и так мало времени!.. ничего не ценю и ничего не храню, а Ваши книжечки в гроб возьму – под подушку!.. Ах, как я Вас люблю, и как я Вам радуюсь, и как мне больно за Вас, и высоко от Вас!.. Вы мой самый любимый поэт, я когда-то – давным-давно – лет шесть тому назад – видела Вас во сне, – Вашу будущую книгу: темно-зеленую, сафьяновую, с серебром – «Словеса злотые», – какое-то древнее колдовство, вроде молитвы (вернее – обратное!) – и – проснувшись – я знала, что Вы ее напишете... Я понимаю каждое Ваше слово: весь полет, всю тяжесть. «И шпор твоих легонький звон», – это нежнее всего, что сказано о любви... Я ненасытна на Вашу душу и буквы... М.Ц. Москва, 26-го русского апреля 1921».*

Много стихов посвятила Цветаева Ахматовой, а Анна Андреевна – лишь одно, и то через много лет:

«Поздний ответ

Белорученька моя, Чернокнижница...

М. Ц.

Невидимка, двойник, пересмешник...
Что ты прячешься в черных кустах? —
То забьешься в дырявый скворешник,
То мелькнешь на погибших крестах,
То кричишь из Маринкиной башни:
«Я сегодня вернулась домой,
Полюбуйтесь, родимые пашни,
Что за это случилось со мной.
Поглотила любимых пучина
И разграблен родительский дом».
Мы сегодня с тобою, Марина,
По столице полночной идем.
А за нами таких миллионы,
И безмолвнее шествия нет...
А вокруг погребальные звоны

Да московские хриплые стоны
Вьюги, наш заметающей след.

16 марта 1940, 1961,

Фонтанный дом – Красная Конница».

«Ей я не решилась прочесть, – призналась в свое время Анна Андреевна писательнице Лидии Чуковской. – А теперь жалею. Она столько стихов посвятила мне. Это был бы ответ, хоть и через десятилетия. Но я не решилась из-за страшной строки о любимых».

А Цветаева забрасывала своего кумира стихами, письмами, подарками. В одном из писем она, к примеру, восхищалась только что прочитанной ею ахматовской «Колыбельной» – «Далеко в лесу огромном...» – и утверждала, что за одну строчку этого стихотворения – «Я дурная мать» – готова отдать все, что до сих пор написала и еще когда-нибудь напишет. Хотя уже в то время ее собственные стихи о Москве или к Блоку многие считали необыкновенно талантливыми. Но Ахматова их не ценила. Более того, отзывалась о Марине Ивановне холодно, отделялась вежливыми, уклончивыми ответами и замечаниями. К примеру, ей не очень нравились так называемые «анжамбеманы», которыми Цветаева злоупотребляла с каждым годом все сильнее, то есть о переносе логического содержания строки в начало строки следующей. «Это можно сделать раз, два, – соглашалась Ахматова, – но у нее ведь это повсюду, и прием этот теряет всю свою силу».

Когда ее просили оценить творчество Цветаевой, она сдержанно отвечала: «У нас теперь ею увлекаются, очень ее любят, даже больше, чем Пастернака». Но лично от себя ничего не добавляла.

Но ее современники объяснили безразличие Ахматовой к стихам Цветаевой не только их словесным, формальным складом. «Не по душе ей было, вероятно, другое, – предполагал Георгий Адамович, – демонстративная, вызывающая, почти назойливая «поэтичность» цветаяевской поэзии, внутренняя бальмонтовщина при резких внешних отличиях от Бальмонта, неустрашимая поза при несомненной искренности, постоянный «заскок». Если это так, то не одну Ахматову это отстраняло и не для нее одной это делало не вполне приемлемым творчество Цветаевой, человека, редкостно даровитого и редкостно несчастного».

* * *

Впервые поэтессы встретились только в 1941 году – до самоубийства Марины Ивановны оставалось всего два месяца. Тогда на нее много ужасного навалилось: муж и дочь в тюрьме, она повязана НКВД, жить не на что, кроме того, она апокалиптически относилась к начавшейся войне с Германией. И слегла от душевных мук. И когда ее в Елабуге навестил Борис Пастернак, она попросила его увидеться с Ахматовой. «Борис Леонидович оставил здесь у Нины телефон и просил, чтобы я непременно позвонила, – вспоминала Анна Андреевна. – Я позвонила. Она подошла.

– Говорит Ахматова.

– Я вас слушаю.

(Да, да, вот так: она меня слушает.)

– Мне передал Борис Леонидович, что вы желаете меня видеть. Где же нам лучше увидеться: у вас или у меня?

– Думаю, у вас.

– Тогда я сейчас позову кого-нибудь нормального, кто бы объяснил вам, как ко мне ехать.

– Пожалуйста. Только нужен такой нормальный, который умел бы объяснять ненормальным.

Тут я подумала: один безумный поэт – хорошо, два – плохо.

Она приехала и сидела семь часов. Ардовы тогда были богатые и прислали ко мне в комнату целую телячью ногу.

На следующий день звонок: опять хочу вас видеть. А я собиралась к Николаю Ивановичу, в Марьину рощу. Я дала ей тот телефон. Вечером она позвонила; говорит: не могу ехать на такси, на метро, на троллейбусе, на автобусе – только на трамвае. (Она боялась уличных машин, в метро – эскалаторов, в домах – лифтов, казалась близорукой и незащищенной от мира. – Ред.)

Тэдди Гриц ей все подробно объяснил и вышел ее встретить. Мы пили вино вчетвером. Тэдди сказал, что у дома торчит человек. Я подумала: какая же у нее счастливая жизнь! А, может быть, это у меня? А может быть, у нас обеих?»

«С этим рассказом о встречах с Цветаевой интересно сопоставить запись, сделанную Анной Андреевной в 1962 года, – писала Лидия Корнеева. – «Наша первая и последняя двухдневная встреча произошла в июне 1941 г. на Большой Ордынке, 17, в квартире Ардовых (день первый) и в Марьиной роще у Н. И. Харджиева (день второй и последний). Страшно подумать, как бы описала эти встречи сама Марина, если бы она осталась жива, а я бы умерла 31 августа 41 г. Это была бы «благоуханная легенда», как говорили наши деды. Может быть, это было бы причитание по 25-летней любви, которая оказалась напрасной, но во всяком случае это было бы великолепно. Сейчас, когда она вернулась в свою Москву такой королевой и уже навсегда... мне хочется просто “без легенды” вспомнить эти Два дня».

А позже Ахматова напишет Цветаевой слова благодарности: «... Я не пишу никогда и никому, но Ваше доброе отношение мне бесконечно дорого. Спасибо Вам за него и за посвящение поэмы... Мечтаю прочитать Ваши новые стихи... Ваша Ахматова».

Но прочитать новые цветаевские стихи никому уже не было суждено. После начала Великой Отечественной войны Марину Ивановну отправили в эвакуацию в город Елабуга в Татарстане. Упаковывать вещи ей помогал Борис Пастернак. Он принес веревку, чтобы перевязать чемодан, и, заверяя в ее крепости, пошутил: «Веревка все выдержит, хоть вешайся». Впоследствии ему передали, что именно на ней Цветаева в Елабуге 31 августа 1941 года и повесилась (по свидетельству Марка Слонима, со слов К. Г. Паустовского).

«21 октября 41. Анна Андреевна расспрашивает меня о Цветаевой, – пишет Лидия Чуковская. – Я прочла ей то, что записала 4.IX, сразу после известия о самоубийстве. Сегодня мы шли с Анной Андреевной вдоль Камы, я переводила ее по жердочке через ту самую лужу-океан, через которую немногим более пятидесяти дней назад помогала пройти Марине Ивановне...

– Странно очень, – сказала я, – та же река, и лужа, и досточка та же. Два месяца тому назад на этом самом месте, через эту самую лужу я переводила Марину Ивановну. И говорили мы о вас. А теперь ее нету и говорим мы с вами о ней. На том же месте!

Анна Андреевна ничего не ответила, только поглядела на меня со вниманием.

Но я не пересказала ей наш тогдашний разговор...

(Я высказала Марине Ивановне свою радость: А. А. не здесь, не в Чистополе, не в этой, утопающей в грязи, отторгнутой от мира, чужой полутатарской деревне. «Здесь она непременно погибла бы... Здешний быт убил бы ее... Она ведь ничего не может». «А вы думаете, я – могу?» – резко перебила меня Марина Ивановна»).

* * *

Конечно, две гениальные женщины не могли не признавать друг у друга необыкновенных способностей. Может, слегка завидовали, может, слегка ревновали, но уж точно ценили поэтический дар – такой редкий, такой уязвимый и такой всемогущий!

Вообще, поразительно, как «королева Петербурга» – так звали поклонники Ахматову и «царица Москвы» – Цветаева почти одновременно появились в одном временном пространстве, в одной стране, в соседних городах. Видимо, Бог был очень щедр на пришествие даровитых людей в XX веке.

В то время я гостила на земле.
Мне дали имя при крещенье – Анна,
Сладчайшее для губ людских и слуха.
Так дивно знала я земную радость
И праздников считала не двенадцать,
А столько, сколько было дней в году.

«Эпические мотивы», 1913

Я родилась в один год с Чарли Чаплином, «Крейцеровой сонатой» Толстого, Эйфелевой башней и, кажется, Элиотом. В это лето Париж праздновал столетие падения Бастилии – 1889. В ночь моего рождения справлялась и справляется древняя Иванова ночь <...>.

...В семье никто, сколько глаз видит кругом, стихи не писал, только первая русская поэтесса Анна Бунина была теткой моего деда Эразма Ивановича Стогова. Стоговы были небогатые помещики Можайского уезда Московской губернии, переселенные туда за бунт при Марфе-посаднице. В Новгороде они были богаче и знатнее.

Моего предка хана Ахмата убил ночью в его шатре подкупленный убийца, и этим, как повествует Карамзин, кончилось на Руси монгольское иго. В этот день, как в память о счастливом событии, из Сретенского монастыря в Москве шел крестный ход. Этот Ахмат, как известно, был чингизидом.

Одна из княжон Ахматовых – Прасковья Егоровна – в XVIII веке вышла замуж за богатого и знатного симбирского помещика Мотовилова. Егор Мотовилов был моим прадедом. Его дочь Анна Егоровна – моя бабушка. Она умерла, когда моей маме было девять лет, и в честь ее меня называли Анной. Из ее фероньерки сделали несколько перстней с бриллиантами и одно с изумрудом, а ее наперсток я не могла надеть, хотя у меня были тонкие пальцы.

1964

Свидетельство о крещении

Свидетельство № 4379

По Указу Его Императорского Величества, из Херсонской Духовной Консistorии, вследствие прошения жены отставного Капитана 2-го ранга Инны Эразмовой Горенко и на основании определения, состоявшегося в сей Консistorии 30-го Апреля 1890 го-да, выдано сие свидетельство в том, что в шнуровой метрической книге Кафедрального Преображенского собора портового города Одессы, Херсонской епархии, за тысяча восемьсот восемьдесят девятый год, во 1-й части о родившихся, под № 87 женского пола записан следующий акт: Июня одиннадцатого родилась, а Декабря семнадцатого крещена Анна; родители ее: Капитан 2-го ранга Андрей Антониев Горенко и законная жена его Инна Эразмова, оба православные. Восприемниками были: кандидат естественных наук Стефан Григориев Романенко и дочь дворянина Мария Федоровна Вальцер.

Таинство крещения совершал протоиерей Евлампий Арнольдов с псаломщиком Александром Тоболиным. Причитающийся гербовой сбор уплачен г. Одесса. 1890 года Мая 7 дня. Написанному между строк слову «собора» верить.

Член Консistorии Протоиерей Евлампий Арнольдов

Анна Андреевна появилась на свет 11 (23) июня 1889 года под Одессой. В семье потомственного дворянина Андрея Антоновича Горенко и Инны Эразмовны Стоговой, кроме Анны в семье, было еще пятеро детей: Андрей, Инна, Ирина, Ия и Виктор.

Брак родителей Ахматовой сложился несчастливо. Андрей Антонович жил в свое удовольствие, не считая, тратил женины деньги, не обделял вниманием ни одной хорошенькой молодой женщины. Инна Эразмовна переживала из-за равнодушия мужа и к ней, и к детям.

Анна Андреевна, хотя в семье ее считали отцовской дочкой за внешние сходства, была всегда на стороне матери.

...И женщина с прозрачными глазами
(Такой глубокой синевы, что море
Нельзя не вспомнить, поглядевши в них),
С редчайшим именем и белой ручкой,
И добротой, которую в наследство
Я от нее как будто получила, —
Ненужный дар моей жестокой жизни...

(Предыстория, 1945)

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

(Беседуют Лидия Чуковская, Анна Ахматова и Валентина Срезневская):

— ...Да уж, твоя мама совсем ничего не умела в жизни. Представьте, Лидия Корнеевна, из старой дворянской семьи, а уехала на курсы. Как она собиралась жить — непонятно.

— Не только на курсы, — поправила Анна Андреевна, — она стала членом народовольческого кружка. Уж куда революционнее.

— Представьте, Лидия Корнеевна, маленькая женщина, розовая, с исключительным цветом лица, светловолосая, с исключительными руками.

— Чудные белые ручки! — вставила Анна Андреевна.

– Необыкновенный французский язык, – продолжала Срезневская, – вечно падающее пенсне, и ничего, ну ровно ничего не умела... А твой отец! Красивый, высокий, стройный, одет всегда с иголочки, цилиндр слегка набок, как носили при Наполеоне III, и говорил про жену Наполеона: «Евгения была недурна...»

– Он видел ее в Константинополе, – вставила Анна Андреевна, – и находил, что она – самая красивая женщина в мире.

Потом речь зашла почему-то о руках Николая Степановича: «Бессмертные руки!» – сказала Валерия Сергеевна.

Одна из приятельниц Андрея Антоновича Горенко свидетельствует

«Странная это была семья... Куча детей. Мать, богатая помещица, добрая, рассеянная до глупости, безалаберная, всегда думавшая о чем-то другом... В доме беспорядок. Едят когда придется, прислуги много, а порядка нет. Гувернантки делали что хотят. Хозяйка бродит, как сомнамбула. Как-то, при переезде в другой дом, она долго носила в руках толстый пакет с процентными бумагами на несколько десятков тысяч рублей и в последнюю минуту нашла для него подходящее место – сунула пакет в детскую ванну, болтавшуюся позади воза. Когда муж узнал об этом, он помчался на извозчике догонять ломового. А жена с удивлением смотрела, чего он волнуется, да еще и сердится».

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«Я стала расспрашивать Анну Андреевну о ее семье. Она такой особенный человек и изнутри, и снаружи, что мне очень хочется понять: есть ли в ней что-нибудь родовое, семейное, общее. Неужели она может быть на кого-то похожа?

Она рассказала мне о своих сестрах – Ии, Инне.

– Обе умерли от туберкулеза. Ия – когда ей было двадцать семь лет. Я, конечно, тоже умерла бы, но меня спасла моя болезнь щитовидной железы – базедова уничтожает туберкулез. У нас был страшный семейный тbc, хотя отец и мать были совершенно здоровы. (Отец умер от грудной жабы, мать – от воспаления легких в глубокой старости.) Ия была очень особенная, суровая, строгая...

– Она была такой, – продолжила, помолчав, Анна Андреевна, – какую читатели всегда представляли себе меня и какую я никогда не была.

Я спросила, нравились ли Ии Андреевне ее стихи?

– Нет, она находила их легкомысленными. Она не любила их. Все одно и то же, все про любовь и про любовь. – Анна Андреевна стояла у окна и грубым полотенцем протирала чашки.

– В доме у нас не было книг, ни одной книги. Только Некрасов, толстый том в переплете. Его мне мама давала читать по праздникам. Эту книгу подарил маме ее первый муж, застрелившийся... Гимназия в Царском, где я училась, была настоящая бурса... Потом в Киеве гимназия была немного лучше...

Стихи я любила с детства и доставала их уж не знаю откуда. В тринадцать лет я знала уже по-французски и Бодлера, и Верлена, и всех проклятых. Писать стихи я начала рано, но удивительно то, что, когда я еще не написала ни строчки, все кругом были уверены, что я стану поэтессой. А папа даже дразнил меня так: декадентская поэтесса...»

Мое детство так же уникально и великолепно, как детство всех детей в мире...

Говорить о детстве и легко и трудно. Благодаря его статичности его очень легко описывать, но в это описание слишком часто проникает слащавость, которая совершенно чужда

такому важному и глубокому периоду жизни, как детство. Кроме того, одним хочется казаться слишком несчастными в детстве, другим – слишком счастливыми. И то и другое обычно вздор. Детям не с чем сравнивать, и они просто не знают, счастливы они или несчастны. Как только появляется сознание, человек попадает в совершенно готовый и неподвижный мир, и самое естественное не верить, что этот мир некогда был иным. Эта первоначальная картина навсегда остается в душе человека, и существуют люди, которые только в нее и верят, кое-как скрывая эту странность. Другие же, наоборот, совсем не верят в подлинность этой картины и тоже довольно нелепо повторяют: «Разве это был я?»

В молодости и в зрелых годах человек очень редко вспоминает свое детство. Он активный участник жизни, и ему не до того. И кажется, всегда так будет. Но где-то около пятидесяти лет все начало жизни возвращается к нему.

* * *

Родилась я на даче Саракини (Большой Фонтан, 11-я станция паровичка) около Одессы. Дачка эта (вернее, избушка) стояла в глубине очень узкого и идущего вниз участка земли – рядом с почтой. Морской берег там крутой, и рельсы паровичка шли по самому краю.

Мой отец был в то время отставной инженер-механик флота. Годовалым ребенком я была перевезена на север – в Царское Село. Там я прожила до шестнадцати лет.

Мои первые воспоминания – царскосельские: зеленое, сырое великолепие парков, выгон, куда меня водила няня, ипподром, где скакали маленькие пестрые лошадки, старый вокзал и нечто другое, что вошло впоследствии в «Царскосельскую оду».

I

По аллее проводят лошадок
Длинные волны расчесанных грив.
О, пленительный город загадок,
Я печальна, тебя полюбив.

Странно вспомнить: душа тосковала,
Задышалась в предсмертном бреду,
А теперь я игрушечной стала,
Как мой розовый друг какаду.

Грудь предчувствием боли не сжата,
Если хочешь, в глаза погляди.
Не люблю только час пред закатом,
Ветер с моря и слово «уйди».

II

...А там мой мраморный двойник,
Поверженный под старым кленом,
Озерным водам отдал лик,

Внимает шорохам зеленым.
И моют светлые дожди
Его запекшуюся рану...
Холодный, белый подожди,
Я тоже мраморною стану.

III

Смуглый отрок бродил по аллеям,
У озерных грустил берегов,
И столетие мы лелеем
Еле слышный шелест шагов.

Иглы сосен густо и колко
Устилают низкие пни...
Здесь лежала его треуголка
И растрепанный том Парни.

(«В Царском Селе», 1911)

...Основным местом в Царском Селе был дом купчихи Елизаветы Ивановны Шухардиной (Широкая, второй дом от вокзала, угол Безымянного переулкa). Но первый год века, 1900, семья жила (зиму) в доме Дауделя (угол Средней и Леонтьевской. Там корь и даже, может быть, оспа).

Дом Шухардиной

...Этому дому было сто лет в 90-х годах XIX ве-ка, и он принадлежал купеческой вдове Евдокии Ивановне Шухардиной. Он стоял на углу Широкой улицы и Безымянного переулка. Старики говорили, что в этом доме «до чугулки», то есть до 1838 года, находился заезжий двор или трактир. Расположение комнат подтверждает это. Дом деревянный, темно-зеленый, с неполным вторым этажом (вроде мезонина). В полуподвале мелочная лавочка с резким звонком в двери и незабываемым запахом этого рода заведений. С другой стороны (на Безымянном), тоже в полуподвале, мастерская сапожника, на вывеске – сапог и надпись: «Сапожник Б. Неволин». Летом в низком открытом окне был виден сам сапожник Б. Неволин за работой. Он в зеленом переднике, с мерт-венно-бледным, отекившим лицом запойного пьяницы. Из окна несетя зловещая сапожная вонь. Все это могло бы быть превосходным кадром современной кинокартины. Перед домом по Широкой растут прямые складные дубы средних лет; вероятно, они и сейчас живы; изгороди из кустов кротегуса.

Мимо дома примерно каждые полчаса проносятся к вокзалу и от вокзала целая процессия экипажей. Там всё: придворные кареты, рысаки богачей, полицмейстер барон Врангель – стоя в санях или пролетке и держащийся за пояс кучера, флигель-адъютантская тройка, просто тройка (почтовая), царскосельские извозчики на «браковках». Автомобилей еще не было.

По Безымянному переулку ездили только гвардейские солдаты (кирасиры и гусары) за мукой в свои провиантские магазины, которые находились тут же, поблизости, но уже за городом. Переулок этот бывал занесен зимой глубоким, чистым, не городским снегом, а летом пышно зарастал сорняками – репейниками, из которых я в раннем детстве лепила корзиночки, роскошной крапивой и великолепными лопухами (об этом я сказала в 40-м году, вспоминая пушкинский «ветхий пук дерев» в стихотворении «Царское Село» 1920 года – «Я лопухи любила и крапиву...»).

По одной стороне этого переулкa домов не было, а тянулся, начиная от шухардинского дома, очень ветхий, некрашеный дощатый глухой забор. Вернувшийся осенью того (1905) года из Березок и уже не заставший семьи Горенко в Царском, Н.С. Гумилев был очень огорчен, что этот дом перестраивают. Он после говорил мне, что от этого в первый раз в жизни почувствовал, что не всякая перемена к лучшему.

...Ни Безымянного переулкa, ни Широкой улицы давным-давно нет на свете. На этом месте разведен привокзальный парк или сквер.

Весной 1905 года шухардинский дом был продан наследниками Шухардиной, и наша семья переехала в великолепную, как тогда говорили, барскую квартиру на Бульварной улице (дом Соколовского), но как всегда бывает, тут все и кончилось. Отец «не сошелся характером» с великим князем Александром Михайловичем и подал в отставку, которая, разумеется, была принята. Дети с бонной Моникой были отправлены в Евпаторию. Семья распалась. Через год – 15 июля 1906 года – умерла Инна. Все мы больше никогда не жили вместе. Напротив (по Широкой) была в первом этаже придворная фотография Ган, а во втором жила семья художника Клевера. Клеверы были не царскоселы, жили очень уединенно и в сплетнях унылого и косного общества никакого участия не принимали. Для характеристики «Города Муз» следует заметить, что царскоселы (включая историографов Голлербаха и Рождественского) даже понятия не имели, что на Малой улице в доме Иванова умер великий русский поэт Тютчев. Не плохо было бы хоть теперь (пишу в 1959 году) назвать эту улицу именем Тютчева.

...А иногда по этой самой Широкой от вокзала или к вокзалу проходила похоронная процессия невероятной пышности: хор (мальчики) пел ангельскими голосами, гроба не было видно из-под живой зелени и умирающих на морозе цветов. Несли зажженные фонари, священники кадили, маскированные лошади ступали медленно и торжественно. За гробом шли гвар-

дейские офицеры, всегда чем-то напоминающие брата Вронского, то есть «с пьяными открытыми лицами», и господа в цилиндрах. В каретах, следующих за катафалком, сидели важные старухи с приживалками, как бы ожидающие своей очереди, и все было похоже на описание похорон графини в «Пиковой даме».

И мне (потом, когда я вспоминала эти зрелища) всегда казалось, что они были частью каких-то огромных похорон всего XIX века. Так хоронили в 90-х годах последних младших современников Пушкина. Это зрелище при ослепительном снеге и ярком царскосельском солнце – было великолепно, оно же при тогдашнем желтом свете и густой тьме, которая сочилась отовсюду, бывало страшным и даже как бы инфернальным.

1959

Царскосельская ода

А в переулке забор дощатый...

Н.Г.

Настоящую оду
Нашептало... Постой,
Царскосельскую одурь
Прячу в ящик пустой.
В роковую шкатулку,
В кипарисный ларец,
А тому переулку
Наступает конец.
Здесь не Темник, не Шуя —
Город парков и зал,
Но тебя опишу я,
Как свой Витебск – Шагал.
Тут ходили по струнке,
Мчался рыжий рысак,
Тут еще до чугулки
Был знатнейший кабак.
Фонари на предметы
Лили матовый свет,
И придворной кареты
Промелькнул силуэт.
Так мне хочется, чтобы
Появиться могли
Голубые сугробы
С Петербургом вдали.
Здесь не древние клады,
А дощатый забор,
Интендантские склады
И извозчий двор.
Шепелявя неловко
И с грехом пополам,
Молодая чертовка
Там гадает гостям.

Там солдатская шутка
Льется, желчь не тая...
Полосатая будка
И махорки струя.
Драли песнями глотку
И клялись попадьею,
Пили допоздна водку,
Заедали кутьей.
Ворон криком прославил
Этот призрачный мир...
А на розвальнях правил
Великан-кирасир.

1961

* * *

Анина комната: окно на Безымянный переулок... который зимой был занесен глубоким снегом, а летом пышно зарастал сорняками – репейниками, роскошной крапивой и великанами лопухами... Кровать, столик для приготовления уроков, этажерка для книг. Свеча в медном подсвечнике (электричества еще не было). В углу – икона. Никакой попытки скрасить суровость обстановки – безделушками, вышивками, открытками.

* * *

Запахи Павловского вокзала. Обречена помнить их всю жизнь, как слепоглухонемая. Первый – дым от допотопного паровозика, который меня привез, – Тярлево, парк, *salon de musique* (который называли «соленый мужик»), второй – натертый паркет, потом что-то пахнуло из парикмахерской, третий – земляника в вокзальном магазине (павловская!), четвертый – резеда и розы (прохлада в духоте) свежих мокрых бутоньерок, которые продаются в цветочном киоске (налево), потом сигары и жирная пища из ресторана. А еще призрак Настасьи Филипповны. Царское – всегда будни, потому что дома, Павловск – всегда праздник, потому что надо куда-то ехать, потому что далеко от дома. И Розовый павильон (*Pavilion de roses*).

* * *

Каждое лето я проводила под Севастополем, на берегу Стрелецкой бухты, и там подружилась с морем. Самое сильное впечатление этих лет – древний Херсонес, около которого мы жили.

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«...Анна Андреевна сказала:

– Я недавно перечла «У самого моря» и подумала: понятно ли, что героиня не девушка, а девочка?

– Я думала – девушка шестнадцати-семнадцати лет.

– Нет, именно девочка, лет тринадцати... Вы не можете себе представить, каким чудовищем я была в те годы. Вы знаете, в каком виде тогда барышни ездили на пляж? Корсет, сверху

лиф, две юбки – одна из них крахмальная – и шелковое платье. Наденет резиновую туфельку и особую шапочку, войдет в воду, плеснет на себя – и на берег. И тут появлялось чудовище – я – в платье на голом теле, босая. Я прыгала в море и уплывала часа на два. Возвращалась, надевала платье на мокрое тело – платье от соли торчало на мне колом... И так, кудлатая, мокрая, бежала домой.

– Вы, наверное, очень скучаете без моря?

– Нет. Я его помню. Оно всегда со мной... У меня и тогда уже был очень скверный характер. Мама часто посылала нас, детей, в Херсонес на базар, за арбузами и дынями. В сущности, это было рискованно: мы выходили в открытое море. И вот однажды на обратном пути дети стали настаивать, чтобы я тоже гребла. А я была очень ленива и грести не хотела. Отказалась. Они меня бранили, а потом начали смеяться надо мной – говорили друг другу: вот везем арбузы и Аню. Я обиделась. Я стала на борт и выпрыгнула в море. Они даже не оглянулись, поехали дальше. Мама спросила их: «А где же Аня?» – «Выбросилась». А я доплыла, хотя все это случилось очень далеко от берега...»

У самого моря

Бухты изрезали низкий берег,
Все паруса убежали в море,
А я сушила соленую косу
За версту от земли на плоском камне.
Ко мне приплывала зеленая рыба,
Ко мне прилетала белая чайка,
А я была дерзкой, злой и веселой
И вовсе не знала, что это – счастье.
В песок зарывала желтое платье,
Чтоб ветер не сдул, не унес бродяга,
И уплывала далеко в море,
На темных, теплых волнах лежала.
Когда возвращалась, маяк с востока
Уже сиял переменным светом,
И мне монах у ворот Херсонеса
Говорил: «Что ты бродишь ночью?»

Знали соседи – я чую воду,
И, если рыли новый колодец,
Звали меня, чтоб нашла я место
И люди напрасно не трудились.
Я собирала французские пули,
Как собирают грибы и чернику,
И проносила домой в подоле
Осколки ржавые бомб тяжелых.
И говорила сестре сердито:
«Когда я стану царицей,
Выстрою шесть броненосцев
И шесть канонерских лодок,
Чтобы бухты мои охраняли
До самого Фиолента».

А вечером перед кроватью
Молилась темной иконке,
Чтоб град не побил черешен,
Чтоб крупная рыба ловилась
И чтобы хитрый бродяга
Не заметил желтого платья.
<...>

Дикая девочка

Языческое детство. В окрестностях этой дачи («Отрада», Стрелецкая бухта, Херсонес. Непосредственно отсюда античность – эллинизм) я получила прозвище «дикая девочка», потому что ходила босиком, бродила без шляпы и т. д., бросалась с лодки в открытом море, купалась во время шторма и загорала до того, что сходила кожа, и всем этим шокировала провинциальных севастопольских барышень. Однако в Царском Селе она делала все, что полагалось в то время благовоспитанной барышне. Умела, сложив по форме руки, сделать реверанс, учтиво и коротко ответить по-французски на вопрос старой дамы, говела на Страстной в гимназической церкви. Изредка отец брал ее с собой в оперу (в гимназическом платье) в Мариинский театр (ложе). Бывала в Эрмитаже, в Музее Александра III и на картинных выставках. Весной и осенью в Павловске на музыке – Вокзал... Музеи и картинные выставки... Зимой часто на катке в парке.

В Царскосельских парках тоже античность, но совсем иная (статуи). Читала много и постоянно. Большое (по-моему) влияние (на нее) оказал тогдашний властитель дум Кнут Гамсун («Загадки и тайна»); Пан, Виктория – меньше. Другой властитель Ибсен... Училась в младших классах плохо, потом хорошо. Гимназией всегда тяготилась. В классе дружила только с Тамарой Костылевой, с которой не пришлось больше встретиться в жизни.

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«...Я спросила у нее, где и как она училась.

– В гимназии в Царском, потом несколько месяцев в Смольном, потом в Киеве... Нет, гимназию я не любила и институт тоже. И меня не очень-то любили.

В гимназии, в Царском, был со мной случай, который я запомнила на всю жизнь. Тамошняя начальница меня терпеть не могла – кажется, за то, что я однажды на катке интриговала ее сына. Если она заходила к нам в класс, я уж знала – мне будет выговор: не так сижу или платье не так застегнуто. Мне это было неприятно, а впрочем, я не думала об этом много, «мы ленивы и нелюбопытны». И вот настало расставание: начальница покидала гимназию, ее куда-то переводили. Прощальный вечер, цветы, речи, слезы. И я была. Вечер кончился, и я уже бежала вниз по лестнице. Вдруг меня окликнули. Я поднялась, вижу – это начальница меня зовет.

Я не сомневалась, что опять получу выговор. И вдруг она говорит:

– Прости меня, Горенко, я всегда была к тебе несправедлива».

Аттестат

Окончившая курс Киево-Фундуклеевской женской гимназии Ведомства учреждений Императрицы Марии, девица Анна Андреевна Горенко, дочь Статского Советника, родилась 1889 г. 11-го июня, вероисповедания православного.

Во время пребывания в сем заведении, при отличном поведении, оказала успехи:

По Закону Божию – отличные

по Русскому языку и словесности – очень хорошие

по Французскому языку – весьма хорошие

по Немецкому языку – очень хорошие

по Математике – весьма хорошие

по Истории – очень хорошие

по Географии – отличные

по Естествознанию с гигиеной – весьма хорошие

по Физике и космографии – очень хорошие
по Педагогике – весьма хорошие
по Рисованию и чистописанию – хорошие
по Рукоделию – не обучалась
по Хоровому пению – не обучалась
по Музыке – не обучалась
по Танцам – не обучалась

На основании сего аттестата, в силу гл. V § 46 Высочайше Утвержденного Устава Училищ для приходящих девиц Ведомства учреждений Императрицы Марии она, Анна Горенко, получает, не подвергаясь особому испытанию, свидетельство на звание Домашней учительницы тех предметов, в которых оказала хорошие успехи.

В удостоверение чего дан сей аттестат за надлежащей подписью и с приложением печати заведения. Киев, мая 28 дня 1907 г.

В 1905 году мои родители расстались, и мама с детьми уехала на юг. Мы целый год прожили в Евпатории, где я дома проходила курс предпоследнего класса гимназии, тосковала по Царскому Селу... Отзвуки революции Пятого года глухо доходили до отрезанной от мира Евпатории.

...Кончать мне пришлось (потому что семья переехала на юг) уже не Царскосельскую гимназию, а Киевскую (Фундуклеевскую), в которой я училась всего один год. Потом я два года училась на Киевских Высших женских курсах... Все это время (с довольно большими перерывами) я продолжала писать стихи, с неизвестной целью ставя над ними номера. Как курьез могу сообщить, что, судя по сохранившейся рукописи, «Песня последней встречи» – мое двухсотое стихотворение.

Я поступила на Юридический факультет Высших женских курсов в Киеве. Пока приходилось изучать историю права и особенно латынь, я была довольна; когда же пошли чисто юридические предметы, я к курсам охладела.

В молодости Анна Ахматова не любила ни вспоминать, ни рассказывать о своем отнюдь не розовом детстве. Не любила и ранних стихов, они казались ей чудовищными. Настолько чудовищными, что однажды она их сожгла, пощадив лишь несколько стихотворений, посвященных Николаю Гумилеву. Потом, правда, пожалела и попыталась восстановить по памяти сожженные строки.

Из первой тетради

Всю ночь не давали заснуть,
Говорили тревожно, звонко,
Кто-то ехал в далекий путь,
Увозил больного ребенка.
А мать в полутемных сенях
Ломала иссохшие пальцы
И долго искала впотьмах
Чистый чепчик и одеяльце.

1909 (?)

Гимназической подругой Анны Андреевны была Валерия Сергеевна Срезневская (в девичестве Тюльпанова) – «Валя». Познакомились они еще в детстве, в 1896 году, а через несколько лет, когда семья Тюльпановых сняла этаж в одном доме с семьей Горенко (в доме Е.

И. Шухардиной, близ вокзала, на улице Широкой), девочки стали подругами: вместе ходили в гимназию; вместе купались, читали книги, катались на коньках. Эта дружба продлилась всю жизнь. Через Валю Тюльпанову «Аня Горенко» познакомилась с «Колей Гумилевым».

В. Срезневской

Жрицами божественной бессмыслицы
Назвала нас дивная судьба,
Но я точно знаю – нам зачислятся
Бденья у позорного столба,
И свиданье с тем, кто издевается,
И любовь к тому, кто не позвал...
Посмотри туда – он начинается,
Наш кроваво-черный карнавал.

1910-е гг., Царское Село

В. С. Срезневская. «Воспоминания»

«...С Аней мы познакомились в Гунгербурге, довольно модном тогда курорте близ Нарвы. Аня была худенькой стриженной девочкой, ничем не примечательной, довольно тихонькой и замкнутой.

Дружба пришла позже, когда мы жили в одном и том же доме в Царском Селе, близ вокзала, на углу Широкой улицы и Безымянного переулка.

Аня писала стихи и очень изменилась внутренне и внешне. Стала стройной, с прелестной хрупкой фигурой, с черными, длинными и густыми волосами, прямыми, как водоросли, с большими светлыми глазами, странно выделявшимися на фоне черных волос и темных бровей и ресниц. Она была неутомимой скиталицей-пешеходом, лазала как кошка и плавала как рыба».

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

(Говорит Анна Ахматова)

«Меня маленькую водили в Эрмитаж и в Русский музей, который тогда был совсем молодой. Мы жили в Царском, мама возила меня из Царского. Чего я терпеть не могла, так это выставок передвижников. Все лиловое. Я шла по лестнице и думала: насколько эти старые картины, развешанные на лестнице, лучше...»

Забытое четверостишие

Глаза безумные твои
И ледяные речи,
И объяснение в любви
Еще до первой встречи.

1909 (?)

* * *

Пестро вертится карусель,
И какие-то новые дети
Из еще не бывших столетий
Украшают в Сочельник ель.
Из черного варианта

«Поэмы без героя»

В. С. Срезневская. «Воспоминания»

«С Колей Гумилевым Аня познакомилась в Сочельник... Мы вышли из дому, Аня и я с моим младшим братом, прикупить какие-то украшения для елки, которая всегда бывала у нас в первый день Рождества. Около Гостиного двора мы встретились с мальчиками Гумилевыми... Встретив их на улице, мы дальше пошли уже вместе, я с Митей, Аня с Колей, за покупками».

Н.Г. Гумилев. Современность

Я закрыл «Илиаду» и сел у окна.
На губах трепетало последнее слово.
Что-то ярко светило – фонарь иль луна,
И медленно двигалась тень часового.
Я так часто бросал испытующий взор
И так много встречал отвечающих взоров,
Одиссеев во мгле пароходных контор,
Агамемнонов между трактирных маркеров.
Так, в далекой Сибири, где плачет пурга,
Застывают в серебряных льдах мастодонты,
Их глухая тоска там колышет снега,
Красной кровью – ведь их – зажжены горизонты.
Я печален от книги, томлюсь от луны,
Может быть, мне совсем и не надо героя...
Вот идут по аллее, так странно нежны,
Гимназист с гимназисткой, как Дафнис и Хлоя.

Валерия Срезневская, в ту пору еще Валечка Тюльпанова, видимо, была не совсем в курсе дела, утверждая, что Коля в тот Сочельник впервые увидел Аню Горенко. Судя по стихотворению Ахматовой, где она говорит об «объяснении в любви еще до первой встречи», Гумилев, гимназист 7-го класса, еще раньше обратил внимание на подругу Валечки – зеленоглазую, черноволосую, грустную диковатую девочку – и, не зная ее имени, окрестил русалкой.

Читая «Гамлета»

У кладбища направо пылил пустырь,
А за ним голубела река.
Ты сказал мне: «Ну что ж, иди в монастырь
Или замуж за дурака...»
Принцы только такое всегда говорят,
Но я эту запомнила речь, —
Пусть струится она сто веков подряд
Горностаевой мантией с плеч [1].

1909 (1945), Киев

2

И как будто по ошибке
Я сказала: «Ты...»
Озарила тень улыбки
Милые черты.
От подобных оговорок
Всякий вспыхнет взор...
Я люблю тебя, как сорок
Ласковых сестер.

1909 (1945), Киев

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

(Слова А. Ахматовой)

«Был такой период творчества и жизни Гумилева, когда все его стихи – обо мне, когда всё в его жизни имело истоком – меня. Путешественником он стал, чтобы излечиться от любви ко мне, и Дон Жуаном – тоже. Брак наш был концом отношений, а не началом их и не разгаром. Этого никто не знал. Нас надо было смотреть в девятьсот пятом – девятьсот девятом годах. Тогда Николай Степаныч закладывал вещи под большие проценты, чтобы приехать и увидеть мой надменный профиль какие-нибудь пятнадцать минут».

* * *

И когда друг друга проклинали
В страсти, раскаленной добела,
Оба мы еще не понимали,
Как земля для двух людей мала,
И что память яростная мучит,
Пытка сильных – огненный недуг!
И в ночи бездонной сердце учит
Спрашивать: о, где ушедший друг?
А когда, сквозь волны фимиама,
Хор гремит, ликуя и грозя,
Смотрят в душу строго и упрямо
Те же неизбежные глаза.

1909

* * *

То ли я с тобой осталась,
То ли ты ушел со мной,
Но оно не состоялось,
Разлученье, ангел мой!
И не вздох печали томной,
Не затейливый укор,
Мне внушает ужас темный
Твой спокойный ясный взор.

1909

* * *

Сладок запах синих виноградин...
Дразнит опьяняющая даль.
Голос твой и глух и безотраден.
Никого мне, никого не жаль.
Между ягод сети-паутинки,
Гибких лоз стволы еще тонки,
Облака плывут, как льдинки, льдинки
В ярких водах голубой реки.
Солнце в небе. Солнце ярко светит.
Уходи к волне про боль шептать.
О, она наверное ответит,
А быть может, будет целовать.

16 января 1910, Киев

Бесконечное жениховство Николая Степановича и мои столь же бесконечные отказы, наконец, утомили даже мою кроткую маму, и она сказала мне с упреком: «Невеста нелепая», что показалось мне кощунством. Почти каждая наша встреча кончалась моим отказом выйти за него замуж.

Выходя замуж за Гумилева в апреле 1910 года, Анна Андреевна уничтожила не только свои стихотворения, но и личную переписку. Но случайно сохранившиеся письма Ахматовой к Сергею фон Штейну, мужу ее старшей сестры Инны, помогают кое-что понять о причинах упорных отказов Анны и ее последующего согласия.

1

...Хорошие минуты бывают только тогда, когда все уходит ужинать в кабак или едут в театр, и я слушаю тишину в темной гостиной. Я всегда думаю о прошлом, оно такое большое и яркое. Ко мне здесь все очень хорошо относятся, но я их не люблю.

Слишком мы разные люди. Я все молчу и плачу, плачу и молчу. Это, конечно, находят странным, но так как других недостатков я не имею, то пользуюсь общим расположением.

С августа месяца я день и ночь мечтала поехать на Рождество в Царское, к Вале, хоть на три дня. Для этого я, собственно говоря, жила все это время, вся замирая от мысли, что буду там, где... ну да все равно.

И вот Андрей объяснил мне, что ехать невыносимо, и в голове такая холодная пустота. Даже плакать не могу.

Мой милый Штейн, если бы Вы знали, как я глупа и наивна! Даже стыдно перед Вами сознаться: я до сих пор люблю В. Г.-К. И в жизни нет ничего, кроме этого чувства.

У меня невроз сердца от волнений, вечных терзаний и слез. После Валиных писем я переношу такие припадки, что иногда кажется, что уже кончаюсь.

Может быть, глупо, что я Вам это говорю, но хочется быть откровенной и не с кем, а Вы поймете, Вы такой чуткий и так хорошо меня знаете.

Хотите сделать меня счастливой? Если да, то пришлите мне его карточку. Я дам перенять и сейчас же вышлю Вам обратно.

Ваша Аня. 1906 г.

2

Мой дорогой Сергей Владимирович, совсем больна, но села писать Вам по очень важному делу: я хочу ехать на Рождество в Петербург. Это невозможно <...> но дело не в этом. Напишите мне, пожалуйста, тотчас же по получении этого письма, будет ли Кутузов на Рождество в Петербурге. Если нет, то я остаюсь с спокойной душой, но если он никуда не едет, то я поеду. От мысли, что моя поездка может не состояться, я заболела (чудесное средство добиться чего-нибудь), у меня жар, сердцебиение, невыносимые головные боли. Такой страшной Вы меня никогда не видели.

...Знаете, милый Сергей Владимирович, я не сплю уже четвертую ночь. Это ужас, такая бессонница. Кузина моя уехала в имение, прислугу отпустили, и когда я вчера упала в обморок на ковер, никого не было в целой квартире. Я сама не могла раздеться, а на обоях чудились страшные лица. Вообще скверно!

У меня есть предчувствие, что я так-таки не поеду в Петербург. Слишком уж я этого хочу.

...Сергей Владимирович, если бы Вы видели, какая я жалкая и ненужная. Главное не нужная, никому, никогда. Умереть легко. Говорил Вам Андрей, как я в Евпатории вешалась и гвоздь выскочил из известковой стенки? Мама плакала, мне было стыдно – вообще скверно.

Стихов я не пишу. Стыдно? Да и зачем?

Отвечайте же скорее о Кутузове.

Он для меня – в с ё.

Ваша Аннушка.

P.S. Уничтожайте, пожалуйста, мои письма. Нечего и говорить, конечно, что то, что я Вам пишу, не может быть никому известно.

Аня. 1906 г.

4

Милый Сергей Владимирович.

Если бы знали, какой Вы злой по отношению к Вашей несчастной belle-sœur. Разве так трудно прислать мне карточку и несколько слов.

Я так устала ждать!

Ведь я жду ни больше ни меньше как пять месяцев.

С сердцем у меня совсем скверно, и только оно заболит, левая рука совсем отнимается. Мне не пишут из дому, как здоровье Андрея, и поэтому я думаю, что ему плохо.

Может быть, и Вы больны, что так упорно молчите. Я кончила жить, еще не начиная. Это грустно, но этот так. Где Ваши сестры? верно, на курсах, о, как я им завидую. Уж, конечно, мне на курсах никогда не бывать, разве на кулинарных.

Сережа! Пришлите мне карточку Г.-К. Прошу Вас в последний раз, больше, честное слово, не буду.

Я верю, что Вы хороший настоящий друг, хотя Вы как никто знаете меня.

Ecrivez.

Аня. Январь 1907 г.

5

Милый Сергей Владимирович, это четвертое письмо, которое я пишу Вам за эту неделю. Не удивляйтесь, с упрямством, достойным лучшего применения, я решила сообщить Вам о событии, которое должно коренным образом изменить мою жизнь, но это оказалось так трудно, что до сегодняшнего вечера я не могла решиться послать это письмо. Я выхожу замуж за друга моей юности Николая Степановича Гумилева. Он любит меня уже три года, и я верю, что моя судьба быть его женой. Люблю ли его, я не знаю, но кажется мне, что люблю. Помните у В. Брюсова:

Сораспая на муку,
Враг мой давний и сестра,
Дай мне руку! дай мне руку!
Меч взнесен. Спешу. Пора.

И я дала ему руку, а что было в моей душе, знает Бог и Вы, мой верный, дорогой Сережа. Оставим это.

...Хотите знать, почему я не сразу ответила Вам; я ждала карточку Г.-К. и только после получения ее я хотела объявить Вам о своем замужестве. Это гадко, и чтобы наказать себя за такое малодушие, я пишу сегодня, и пишу все, как мне это ни тяжело.

...Я не пишу ничего и никогда писать не буду. Я убила душу свою, и глаза мои созданы для слез, как говорит Иоланта.

...Не говорите никому о нашем браке. Мы еще не решили, ни где, ни когда он произойдет. Это – тайна, я даже вашим ничего не написала.

...Пришлите мне, несмотря ни на что, карточку Владимира Викторовича. Ради Бога, я ничего на свете так сильно не желаю.

Ваша Аня.

P.S. Нет ли у Вас чего-нибудь нового Н.С. Гумилева. Я совсем не знаю, что и как он теперь пишет, а спрашивать не хочу.

2 февраля 1907 г.

6

Мой дорогой Сергей Владимирович, я еще не получила ответа на мое письмо и уже снова пишу. Мой Коля собирается, кажется, приехать ко мне – я так безумно счастлива. Он пишет мне непонятные слова, и я хожу с письмом к знакомым и спрашиваю объяснение. Всякий раз, как приходит письмо из Парижа, его прячут от меня и передают с великими предосторожно-

стями. Затем бывает нервный припадок, холодные компрессы и общее недоумение. Это от страстности моего характера, не иначе. Он так любит меня, что даже страшно. Как Вы думаете, что скажет папа, когда узнает о моем решении? Если он будет против моего брака, я убегу и тайно обвенчаюсь с Nicolas. Уважать отца я не могу, никогда его не любила, с какой же стати буду его слушаться. Я стала зла, капризна, невыносима. О, Сережа, как ужасно чувствовать в себе такую перемену. Не изменяйтесь, дорогой, хороший мой друг. Если я буду жить в будущем году в Петербурге, Вы будете у меня бывать, да? Не оставляйте меня, я себя ненавижу, презираю, я не могу выносить этой лжи, опутавшей меня... Скорее бы кончить гимназию и поехать к маме. Здесь душно! Я сплю 4 ч. в сутки вот уже 5-й месяц. Мама писала, что Андрей поправился, я поделилась с ним моей радостью, но он мне (увы!) не поверил.

Целую Вас, мой дорогой друг.

Аня. Февраль 1907 г.

7

Мой дорогой Сергей Владимирович, не знаю, как выразить бесконечную благодарность, которую я чувствую к Вам.

...Ведь я пять месяцев ждала его карточку, на ней он совсем такой, каким я знала его, любила и так безумно боялась: элегантный и такой равнодушно-холодный, он смотрит на меня усталым спокойным взором близоруких светлых глаз.

Отчего Вы думали, что я замолчу после получения карточки? О нет! Я слишком счастлива, чтобы молчать. Я пишу Вам и знаю, что он здесь со мной, что я могу его видеть, – это так безумно-хорошо. Сережа! я не могу оторвать от него душу мою. Я отравлена на всю жизнь, горек яд неразделенной любви! Смогу ли я снова начать жить? Конечно, нет! Гумилев – моя Судьба, и я покорно отдаюсь ей. Не осуждайте меня, если можете. Я клянусь Вам всем для меня святым, что этот несчастный человек будет счастлив со мной.

Аня. 11 февраля 1907 г.

8

Мой дорогой Сергей Владимирович, я прочла Ваше письмо, и мне стало стыдно за свою одичалость. Только вчера я достала «Жизнь человека», остальных произведений, о которых Вы пишете, я совсем не знаю. Мне вдруг захотелось в Петербург, к жизни, к книгам. Но я вечная скиталица по чужим грубым и грязным городам, какими были Евпатория и Киев, будет Севастополь, я давно потеряла надежду. Живу отлетающей жизнью так тихо, тихо. <...>

Мое стихотворение «На руке его много блестящих колец» напечатано во 2-м номере «Сириуса», может быть, в 3-м появится маленькое стихотворение, написанное мною уже в Евпатории. <...>

Не стесняйтесь, критикуя мое стихотворение или передавая отзывы других, – ведь я больше не пишу. Мне все равно! Все ушло из души вместе с единственным освещавшим ее светлым и нежным чувством. Мне кажется, Вы хорошо понимаете меня.

...Зачем Гумилев взялся за «Сириус». Это меня удивляет и приводит в необычайно веселое настроение. Сколько несчастий наш Микола перенес, и все понапрасну. Вы заметили, что сотрудники почти все так же известны и почтенны, как я? Я думаю, что нашло на Гумилева затмение от Господа. Бывает!

Пишите непременно.

Аннушка.

P.S. Когда кончатся экзамены Г-К?

Киев, 13 марта 1907 г.

9

Дорогой Сергей Владимирович, хотя Вы прекратили со мной переписку весной этого года, у меня все-таки явилось желание поговорить с Вами.

Не знаю, слышали ли Вы о моей болезни, которая отняла у меня надежду на возможность счастливой жизни. Я болела легкими (это секрет), и, может быть, мне грозит туберкулез. Мне кажется, что я переживаю то же, что Инна, и теперь ясно понимаю состояние ее духа...

Не говорите, пожалуйста, никому о моей болезни. Даже дома – если это возможно. Андрей с 5 сентября в Париже, в Сорбонне. Я болею, тоскую и хую. Был плеврит, бронхит и хронический катар легких. Теперь мучаюсь с горлом. Очень боюсь горловую чахотку. Она хуже легочной. Живем в крайней нужде. Приходится мыть полы, стирать.

Вот она, моя жизнь! Гимназию кончила очень хорошо. Доктор сказал, что курсы – смерть. Ну и не иду – маму жаль.

Прощайте! Увидимся ли мы?!

Аннушка.

10

На днях возвращаюсь в Царское. Напоминаю Вам Ваше обещание навестить меня. Пожалуйста, передайте мое приглашение Екатерине Владимировне. О дне сговоримся по телефону. Здесь я проболела 2 недели.

Открытое письмо. Почтовый штемпель – 29.X.1910 Киев

В письмах Анны Горенко к Сергею фон Штейну есть пробел: предпоследнее, из Севастополя, датировано 1907 годом, последнее, из Киева, октябрем 1910-го. Попробуем этот пробел заполнить.

Весной 1907-го Гумилев проездом из Парижа в Царское Село (он должен был пройти медицинскую комиссию на предмет освобождения от воинской повинности по причине врожденного астигматизма) заезжал в Киев.

Как видно из февральских за 1907 год писем к С.В. Штейну, Анна очень ждала этой встречи, уже решив, что выйдет замуж за друга своей юности, была даже готова тайно обвенчаться с ним, если родители будут против. Однако в последующие несколько месяцев в ее жизни что-то случилось. Впрочем, весной 1907-го отношений Хлоя и Дафнис, кажется, не выясняли, договорились, что встретятся осенью, в Крыму. Но и в Крыму они снова поссорились. Эта встреча у самого моря описана в стихотворении Гумилева «Отказ» (сентябрь 1907):

Отказ

Царица иль, может быть, только печальный ребенок, —
Она наклонялась над сонно-вздыхающим морем,
И стан ее стройный и гибкий казался так тонок,
Он тайно стремился навстречу серебряным зорям.
Сбегающий сумрак. Какая-то крикнула птица,
И вот перед ней замелькали во влаге дельфины,
Чтоб плыть к бирюзовым владеньям влюбленного принца,

Они предлагали свои глянцеви́тые спины.
Но голос хрустальный казался особенно звонок,
Когда он упрямо сказал роковое «не надо»...
Царица иль, может быть, только капризный ребенок,
Усталый ребенок с бессильною мукою взгляда.

Гумилев вернулся в Париж в расстроенных чувствах. Переписка тем не менее продолжалась: он снова и снова предлагал руку и сердце, она то нехотя соглашалась, то не очень решительно полуотказывала. Не выдержав неопределенности, Николай Степанович, втайне от родных, заняв деньги у ростовщиков, приехал в Россию и поставил вопрос ребром: или да, или нет. Анна сказала: нет! А что другое она могла сказать теперь, когда наконец-то узнала, что такое любовь? Не страсть, не забава, не полувыдуманная влюбленность, а серьезная земная любовь? Много позже, уже после смерти Николая Степановича, она признается Павлу Лукницкому, юному филологу, собиравшему в 20-х годах материалы к биографии Николая Гумилева: «В течение своей жизни любила только один раз. Только один раз. Но как это было... В Херсонесе три года ждала от него письма. Три года каждый день, по жаре, за несколько верст ходила на почту, и письма так и не получила».

Имени человека, от которого Анна Горенко так и не дождалась письма, мы не знаем. Возможно, оно было известно Валерии Тюльпановой, а также Гумилеву. Уже после развода Николай Степанович, несмотря на всю свою гордость, все-таки спросил Анну Андреевну об этом, и она, как свидетельствует Павел Лукницкий, честно и прямо ответила на вопрос. Но тягостное объяснение произошло, напоминая, лишь в 1918-м, а в 1908-м Гумилев только терялся в догадках и какое-то время ревновал свою «русалку» не столько к конкретному мужчине, сколько к ее мечте о «влюбленном принце».

И все-таки Гумилев добился – если не сердца, то руки девушки своей мечты. 25 апреля 1910 года Анна Горенко и Николай Гумилев, после семи лет «жениховства», обвенчались. Венчание состоялось в Николаевской церкви села Никольская слободка, в окрестностях Киева. Место было выбрано женихом не случайно. Николай Мирликийский считался святым покровителем Николая Степановича, и жених, видимо, втайне, не признаваясь себе, надеялся на помощь своего заступника. Понравилась церковь и невесте. Маленькая, бедная, однако нарядная, вся в крестьянских вышивках и сухих цветиках.

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«Я венчалась, – сказала Анна Андреевна. – По всем правилам. И, уверяю вас, гораздо интереснее смотреть, как венчаются другие, чем венчаться самой».

Четыре стихотворения Ахматовой посвящены «свахе» – двоюродной сестре Марии Александровне Змунчилла (Мария, Наничка, она хорошо относилась к Гумилеву и сделала все возможное и невозможное, чтобы венчание состоялось): «Синий вечер. Ветры кротко стихли...», «На столике чай, печения сдобные...», «Весенним солнцем это утро пьяно...», «Я написала слова...». Они отражают апрельские события 1910 года, хотя написаны позже, осенью, частью в Царском Селе, частью в Киеве. Ахматова вообще любила писать о событиях, превращенных в воспоминания. Стирались случайные черты, а неслучайное приобретало точность, не утрачивая яркости.

* * *

Синий вечер. Ветры кротко стихли,
Яркий свет зовет меня домой.
Я гадаю: кто там? – не жених ли,
Не жених ли это мой?..
На террасе силуэт знакомый,
Еле слышен тихий разговор.
О, такой пленительной истомы
Я не знала до сих пор.
Тополя тревожно прошуршали,
Нежные их посетили сны.
Небо цвета вороненой стали,
Звезды матово-бледны.
Я несу букет левкоев белых.
Для того в них тайный скрыт огонь,
Кто, беря цветы из рук несмелых,
Тронет теплую ладонь.

Сентябрь 1910, Царское Село

* * *

Я написала слова,
Что долго сказать не смела.
Тупо болит голова,
Странно немеет тело.
Смолк отдаленный рожок,
В сердце все те же загадки,
Легкий осенний снежок
Лег на крокетной площадке.
Листьям последним шуршать!
Мыслям последним томиться!
Я не хотела мешать
Тому, кто привык веселиться.
Милым простила губам
Я их жестокую шутку...
О, вы приедете к нам
Завтра по первопутку.
Свечи в гостиной зажгут,
Днем их мерцанье нежнее,
Целый букет принесут
Роз из оранжереи.

Октябрь 1910, Царское Село

* * *

Весенним солнцем это утро пьяно,

И на террасе запах роз слышней,
А небо ярче синего фаянса.
Тетрадь в обложке мягкого сафьяна;
Читаю в ней элегии и стансы,
Написанные бабушке моей.
Дорогу вижу до ворот, и тумбы
Белеют четко в изумрудном дерне,
О, сердце любит сладостно и слепо!
И радуют изысканные клумбы,
И резкий крик вороны в небе черной,
И в глубине аллеи арка склепа.

2 ноября 1910, Киев

* * *

На столике чай, печения сдобные,
В серебряной вазочке драже.
Подобрала ноги, села удобнее,
Равнодушно спросила: «Уже?»
Протянула руку. Мои губы дотронулись
До холодных гладких колец.
О будущей встрече мы не условились.
Я знала, что это конец.

9 ноября 1910

В качестве свадебного подарка жених преподнес своей «Аннушке» путешествие в Париж. Подарок кажется очень уж нерасчетливым, но на самом-то деле в те времена комната и еда во Франции, и даже в Париже, были чуть ли не вдвое дешевле, чем в России: предвоенный Петербург был самым дорогим городом в Европе.

В 1910-м (25 апреля старого стиля) я вышла замуж за Н.С. Гумилева, и мы поехали на месяц в Париж.

Прокладка новых бульваров по живому телу Парижа (которую описал Золя) была еще не совсем закончена (бульвар Raspail). Вернер, друг Эдисона, показал мне в Taveme du Pantheon два стола и сказал: «А это ваши социал-демократы, тут – большевики, а там – меньшевики». Женщины с переменным успехом пытались носить то штаны (jupes-culottes), то почти пеленали ноги (jupes-entravees). Стихи были в полном запустении, и их покупали только из-за виньеток более или менее известных художников. Я уже тогда понимала, что парижская живопись съела французскую поэзию.

На север я вернулась в июне 1910 года. Царское после Парижа показалось мне совсем мертвым. В этом нет ничего удивительного. Но куда за пять лет провалилась моя царскосельская жизнь? Не застала там я ни одной моей соученицы по гимназии и не переступила порог ни одного царскосельского дома. Началась новая петербургская жизнь.

Едва супруги вернулись из Франции, как Гумилев стал готовиться к очередному путешествию и, еле дождавшись осени (22 сентября 1910), укатил в Абиссинию. В конце ноября

он добрался до Аддис-Абебы, там и встретил 1911 год, так что в свой первый замужний год Анна осталась «соломенной вдовушкой».

Николай Степанович перед венчанием предупредил невесту, что сидеть у камина и смотреть с тоской, как печально камин догорает, не намерен, и она от чистого сердца пообещала, что будет отпускать его и в Африку и хоть на край света, как только он того захочет. Но вот того, что ее пленник захочет воли так скоро, всего через несколько месяцев после свадьбы, конечно же и допустить не могла. Больше того, Николай Степанович, так долго добивавшийся от нее согласия именно на брак, иных отношений он и в мыслях не допускал, оказался совершенно непригодным к семейной жизни. Вскоре после его отъезда в Африку «полуброшенная новобрачная» написала такие стихи:

* * *

Он любил три вещи на свете:
За вечерней пенье, белых павлинов
И стертые карты Америки.
Не любил, когда плачут дети,
Не любил чая с малиной
И женской истерики.
...А я была его женой.

9 ноября 1910, Киев

Видимо, вскоре после отъезда Гумилева, как шило из мешка, вылезла и еще одна неприятная новость. Уже летом, в Слепневе, Анна Андреевна с некоторым удивлением наблюдала за открытыми ухаживаниями мужа за молоденькой кузиной, Машенькой Кузьминой-Караваевой, которую Гумилев знал с детства. Машенька за годы, проведенные Николаем Степановичем за границей, превратилась в настоящую русскую красавицу, светловолосую, с чудесным цветом лица. Но особенного значения им не придавала, решив, видимо, что Коля просто разыгрывает роль влюбленного, чтобы отвлечь девушку от мрачных мыслей: у Машеньки, несмотря на цветущий внешний вид, была чахотка (она скончалась в самом начале 1912 года в Италии). Однако домашняя служба новостей довела до сведения Анны, что ее муж влюблен в прелестную барышню Кузьмину-Караваеву всерьез. Коротая соломенное вдовство, Анна Андреевна старалась как можно меньше бывать дома. То уезжала к родным в Киев, то в гости к отцу в Петербург, после замужества их отношения как-то незаметно потеплели; отец старел, старела и его «адмиральша» и уже не вызывала в Анне мучительной неприязни. Возвращалась поздно и одна. Вокзал и царскосельский поезд был свое-образным клубом знакомств.

Завелись интересные знакомства и у Анны Гумилевой: в поезде соломенная вдовушка однажды разговорилась с Николаем Пуниным, через десять лет она стала его гражданской женой, и брак этот оказался самым длительным из ее замужеств; на вокзале, опоздав на поезд, прочла Георгию Чулкову свои первые настоящие стихи. В ту же зиму в том же поезде приворожила и Николая Недоброво, через четыре года Николай Владимирович написал о поэзии Ахматовой первую серьезную критическую статью.

Г. И. Чулков. «Годы странствий»

«Однажды на вернисаже выставки «Мира Искусства» я заметил высокую стройную сероглазую женщину, окруженную сотрудниками «Аполлона». Меня познакомили. Через несколько дней был вечер Федора Сологуба. Часов в одиннадцать я вышел из Тенишевского

зала. Моросил дождь. И характернейший петербургский вечер окутал город своим синеватым волшебным сумраком. У подъезда я встретил опять сероглазую молодую даму. В петербургском вечернем тумане она похожа была на большую птицу, которая привыкла летать высоко, а теперь влачит по земле раненое крыло».

В тот же вечер, продолжает Г. Чулков, он и Ахматова, возвращаясь в Царское Село, опоздали на поезд и, чтобы скоротать время, сели на вокзале за столик:

Среди беседы моя новая знакомая сказала, между прочим:

– А вы знаете, что я пишу стихи?

Полагая, что это одна из многих тогдашних поэтесс, я рассеянно и равнодушно попросил ее прочесть что-нибудь. Она стала читать стихи, какие потом вошли в ее первую книжку «Вечер».

Первые же строфы, услышанные мною из ее уст, заставили меня насторожиться.

– Еще!.. Еще!.. Читайте еще, – бормотал я, наслаждаясь новой своеобразною мелодией, тонким и острым благоуханием живых стихов... Вскоре мне пришлось уехать в Париж на несколько месяцев. Там, в Париже, я опять встретил Ахматову. Это был 1911 год».

Первый успех пришел к Анне Андреевне именно в эту одинокую зиму 1911 года. Однако она не торопилась воспринять его всерьез, считая похвалы раздутыми, а свои стихи «бедными стихами пустейшей девочки».

Своим учителем в поэзии Ахматова всегда называла Иннокентия Анненского.

Лидия Чуковская. «Записки об Анне Ахматовой»

(Говорит Анна Ахматова)

«...Я пришла один раз к К. Г. Он кончал срочную корректуру. “Посмотрите пока эту книгу”, – сказал он мне и подал только что вышедшую книгу Анненского. И я сразу перестала видеть и слышать, я не могла оторваться, я повторяла эти стихи днем и ночью... Они открыли мне новую гармонию».

В зиму 1910–1911 годов я написала стихи, которые составили книгу «Вечер». 25 марта вернулся из Африки Гумилев, и я показала ему эти стихи...

Всем, в особенности за границей, хочется, чтобы меня «открыл» Вячеслав Иванов. Кто отец этой легенды – не знаю.

...А в самом деле было так: Н.С. Гумилев после нашего возвращения из Парижа (летом 1910 года) повез меня к Вяч. Иванову. Он действительно спросил меня, не пишу ли я стихи (мы были в комнате вдвоем), и я прочла: «И когда друг друга проклинали...» (1909. Киевская тетрадь) и еще что-то (кажется, «Пришли и сказали...»), и Вячеслав очень равнодушно и насмешливо произнес: «Какой густой романтизм!» Я тогда до конца не поняла его иронии. Осенью Николай Степанович, успев снискать вечную немилость Иванова рецензией на «Сог Арdens», и уехал на полгода в Африку, в Аддис-Абебу. Вячеслав встретил меня на Раевских курсах, где он читал лекции, и пригласил на «понедельники» (уже не «среды»). Там я действительно несколько раз читала стихи, и он действительно их хвалил, но их тогда уже хвалили все (Толстой, Маковский, Чулков и т. д.), они были приняты в «Аполлон» и напечатаны, а тот же Иванов лицемерно посылал меня к З. Гиппиус. Александра Николаевна Чеботаревская увела меня в соседнюю комнату и сказала: «Не ходите к ней. Она злая и вас очень обидит». Я ответила: «А я и не собираюсь к ней идти». Кроме того, Вячеслав Иванович очень уговаривал меня бросить Гумилева. Помню его слова: «Этим вы его сделаете человеком». О том, как он tete-tete плакал над стихами, потом выводил в «салон» и там ругал довольно едко, я так часто и давно рассказываю, что скучно записывать.

Разъяснение одного недоразумения

Теперь настает очередь Маковского. Сейчас прочла у Драйзера, что они, Маковские, почему-то стали моими конфидентами, и против воли Гумилева Сергей Константинович напечатал мои стихи в «Аполлоне» (1911). Я не позволю оскорблять трагическую тень поэта нелепой и шутовской болтовней, и да будет стыдно тем, кто напечатал этот вздор.

Вначале я действительно писала очень беспомощные стихи, что Николай Степанович и не думал от меня скрывать. Он действительно советовал мне заняться каким-нибудь другим видом искусства, например танцами («Ты такая гибкая»). Осенью 1910 года Гумилев уехал в Аддис-Абебу. Я осталась одна в гумилевском доме (Бульварная, дом Георгиевского), как всегда, много читала, часто ездила в Петербург (главным образом к Вале Срезневской, тогда еще Тюльпановой), побывала и у мамы в Киеве, и сходила с ума от «Кипарисового ларца». Стихи шли ровной волной, до этого ничего похожего не было. Я искала, находила, теряла. Чувствовала (довольно смутно), что начинает удаваться. А тут и хвалить начали. А вы знаете, как умели хвалить на Парнасе серебряного века! На эти бешеные и бесстыдные похвалы я довольно кокетливо отвечала: «А вот моему мужу не нравится». Это запоминали, раздували, наконец это попало в чьи-то мемуары, а через полвека из этого возникла гадкая, злая сплетня, преследующая «благородную цель» изобразить Гумилева не то низким завистником, не то человеком, ничего не понимающим в поэзии. «Башня» ликовала.

25 марта 1911 года старого стиля (Благовещение) Гумилев вернулся из своего путешествия в Африку. В нашей первой беседе он между прочим спросил меня: «А стихи ты писала?» Я, тайно ликуя, ответила: «Да». Он попросил почитать, прослушал несколько стихотворений и сказал: «Ты поэт – надо делать книгу». Вскоре были стихи в «Аполлоне» (1911, № 4).

* * *

Эти бедные стихи пустейшей девочки почему-то перепечатываются тринадцатый раз (если я видела все контрафакционные издания). Появились они и на некоторых иностранных языках. Сама девочка (насколько я помню) не предрекала им такой судьбы и прятала под диванные подушки номера журналов, где они впервые были напечатаны, «чтобы не расстраиваться». От огорчения, что «Вечер» появился, она даже уехала в Италию (1912 год, весна), а сидя в трамвае, думала, глядя на соседей: «Какие они счастливые – у них не выходит книжка».

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«Чувствуя, что Анна Андреевна настроена сегодня мемуарно, я спросила – любил ли Николай Степанович ее стихи?

– Сначала терпеть не мог. Он выслушивал их внимательно, потому что это была я, но очень осуждал; советовал заняться каким-нибудь другим делом. Он был прав: действительно, стихи я писала тогда ужасающие. Знаете, вроде тех, какие печатались в маленьких журналах на затычку... А потом было так: мы поженились в апреле. (Перед этим очень долго были женихом и невестой.) А в сентябре он уехал в Африку и пробыл там несколько месяцев. За это время я много писала и пережила свою первую славу: все хвалили кругом – и Кузмин, и Сологуб, и у Вячеслава. (У Вячеслава Колю не любили и старались оторвать меня от него; говорили – “вот, вот, он не понимает ваших стихов”.) Он вернулся. Я ему ничего не говорю. Потом он спрашивает: «Писала стихи?» – «Писала». И прочла ему. Это были стихи из книги «Вечер». Он ахнул. С тех пор он мои стихи всегда очень любил».

Песня последней встречи

Так беспомощно грудь холодела,
Но шаги мои были легки.
Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки.

Показалось, что много ступеней,
А я знала – их только три!
Между кленов шепот осенний
Попросил: «Со мною умри!

Я обманут моей унылой,
Переменчивой, злой судьбой».
Я ответила: «Милый, милый!
И я тоже. Умру с тобой...»

Это песня последней встречи.
Я взглянула на темный дом.
Только в спальне горели свечи
Равнодушно-желтым огнем.

1911

* * *

*Я сошла с ума, о мальчик странный,
В среду, в три часа!
Уколола палец безымянный
Мне звенящая оса.
Я ее нечаянно прижала,
И, казалось, умерла она,
Но конец отравленного жала
Был острей веретена.
О тебе ли я заплачу, странном,
Улыбнется ль мне твое лицо?
Посмотри! На пальце безымянном
Так красиво гладкое кольцо.*

1911

* * *

*Сжала руки под темной вуалью...
«Отчего ты сегодня бледна?»*

*– Оттого, что я терпкой печалью
Напоила его допьяна.*

*Как забуду? Он вышел, шатаясь,
Искривился мучительно рот...
Я сбежала, перил не касаясь,
Я бежала за ним до ворот.*

*Задыхаясь, я крикнула: «Шутка
Все, что было. Уйдеешь, я умру».
Улыбнулся спокойно и жутко
И сказал мне: «Не стой на ветру».*

1911

Вернувшись насовсем в родное Царское Село, Анна Андреевна писала о том, о чем не умела написать, когда жила здесь до семейной катастрофы: об игрушечных лошадках, о мраморных красавицах в царскосельских парках, о лицеисте Пушкине... Словно переиначивала совсем не розовое свое детство, грубо исковерканное «изменой» отца и смертью старшей сестры Инны. Словно спасалась от трудной своей юности с тяжелой, безответной любовью. Словно пряталась от мыслей о том, что ничем не может помочь матери, у которой на руках двое малышей. Даже став замужней дамой, не может: Николай Степанович практически ничего не зарабатывал, а тратил (на африканские путешествия и издания стихотворных сборников за свой счет) куда больше того, что Анна Ивановна Гумилева могла выкроить для любимого сына из семейного бюджета.

Первое возвращение

*На землю саван тягостный возложен,
Торжественно гудят колокола,
И снова дух смятен и потревожен
Истомной скукой Царского Села.
Прошло пять лет. Здесь все мертво и немо,
Как будто мира наступил конец.
Как навсегда исчерпанная тема,
В смертельном сне покоится дворец.*

Осень 1910, Царское Село

В марте 1911 года Гумилев вернулся из Африки, на два месяца раньше, чем предполагал: он подхватил тяжелую тропическую лихорадку.

Анна Андреевна сразу же попробовала выяснить, что в семейных сплетнях о его романе с девицей Кузьминой-Караваевой правда, а что наговор. Но Гумилев терпеть не мог выяснения отношений, ни женских истерик. Разговор не состоялся. Кончилось первой крупной размолвкой: Анна Андреевна уехала в Париж, а Николай Степанович, посадив жену в поезд, – в Слепнево, развлекать тамошнюю молодежь.

Весну 1911 года провела в Париже, где была свидетельницей первых триумфов русского балета. В 1912 году проехала по Северной Италии (Генуя, Пиза, Флоренция, Болонья, Падуя, Венеция). Впечатление от итальянской живописи и архитектуры было огромно: оно похоже на сновидение, которое помнишь всю жизнь.

Похожим на сновидение, которое помнишь всю жизнь, оказалось, как выяснилось с годами, и ее мимолетное увлечение художником Амедео Модильяни, в ту пору еще совсем не знаменитым.

В 10-м году я видела его чрезвычайно редко, всего несколько раз. Тем не менее он всю зиму писал мне. Что он сочинял стихи, он мне не сказал.

Как я теперь понимаю, его больше всего поразило во мне свойство угадывать мысли, видеть чужие сны и прочие мелочи, к которым знающие меня давно привыкли. Он все повторял: «Передача мыслей...» Часто говорил: «Это можете только вы».

Вероятно, мы оба не понимали одну существенную вещь: все, что происходило, было для нас обоих предисторией нашей жизни: его – очень короткой, моей – очень длинной. Дыхание искусства еще не обуглило, не преобразило эти два существования, это должен был быть светлый, легкий предрассветный час. Но будущее, которое, как известно, бросает свою тень задолго перед тем, как войти, стучало в окно, пряталось за фонарями, пересекало сны и пугало страшным бодлеровским Парижем, который притаился где-то рядом. И все божественное в Модильяни только искрилось сквозь какой-то мрак. Он был совсем не похож ни на кого на свете. Голос его как-то навсегда остался в памяти. Я знала его нищим, и было непонятно, чем он живет. Как художник он не имел и тени признания.

В это время Модильяни бредил Египтом. Он водил меня в Лувр смотреть египетский отдел, уверял, что все остальное (tout le reste) недостойно внимания. Рисовал мою голову в убранстве египетских цариц и танцовщиц и казался совершенно захвачен великим искусством Египта. Очевидно, Египет был его последним увлечением. Уже очень скоро он становится столь самобытным, что ничего не хочется вспоминать, глядя на его холсты. Теперь этот период Модильяни называют негритянским периодом.

Модильяни очень жалел, что не может понимать мои стихи, и подозревал, что в них таятся какие-то чудеса, а это были только первые робкие попытки (например, в «Аполлоне» 1911 г.). Над «аполлоновской» живописью («Мир искусства») Модильяни откровенно смеялся.

Рисовал он меня не с натуры, а у себя дома, – эти рисунки дарил мне. Их было шестнадцать. Он просил, чтобы я их окантовала и повесила в моей комнате. Они погибли в царско-сельском доме в первые годы Революции. Уцелел тот, в котором меньше, чем в остальных, предчувствуются его будущие «ню»...

Больше всего мы говорили с ним о стихах. Мы оба знали очень много французских стихов: Верлена, Лафорга, Малларме, Бодлера.

Данте он мне никогда не читал. Быть может, потому, что я тогда еще не знала итальянского языка.

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«9 августа 39. Сегодня, когда я была у Анны Андреевны, я заметила на стене маленькую картинку. Очаровательный рисунок карандашом – ее портрет. Она позволила мне снять его со стены и рассмотреть.

Модильяни.

– Вы понимаете, его не интересовало сходство. Его занимала поза. Он раз двадцать рисовал меня.

Он был итальянский еврей, маленького роста, с золотыми глазами, очень бедный. Я сразу поняла, что ему предстоит большое. Это было в Париже. Потом, уже в России, я спрашивала о нем у всех приезжих – они даже и фамилии такой никогда не слыхали. Но потом появились монографии, статьи. И теперь уже все у меня спрашивают: неужели вы его видели?»

В Париже в 1911 году Анна Андреевна написала лишь два стихотворения, но к роману с Модильяни, по ее словам, они не имеют никакого отношения. По всей вероятности, первое («Мне с тобою пьяным весело...») является воспоминанием о прошлогодних осенних беседах с Георгием Чулковым, через столик, в привокзальном царскосельском кафе. Второе («В углу старик, похожий на барана...»), может быть, как-то связано с их новой встречей в Париже. (Вырвавшись на волю, Анна Андреевна, кажется, видела себя второй Анной Карениной, недаром упоминает в «Автобиографии», что родилась в один год с «Крейцеровой сонатой» Льва Толстого.) Правда, Чулков приехал во Францию с женой, но его умная жена весьма снисходительно относилась к «амурным» увлечениям своего супруга, ежели речь шла о том, чтобы помочь «молодому и свежему дарованию».

Первое парижское стихотворение Ахматова опубликовала, второе – постаралась понадежнее забыть, но все-таки вспомнила, за исключением одной строки, в конце 50-х годов.

* * *

Мне с тобою пьяным весело —
Смысла нет в твоих рассказах.
Осень ранняя развесила
Флаги желтые на вязах.
Оба мы в страну обманную
Забрели и горько каемся,
Но зачем улыбкой странную
И застывшей улыбаемся?
Мы хотели муки жалящей
Вместо счастья безмятежного...
Не покину я товарища
И беспутного и нежного.

1911, Париж

* * *

В углу старик, похожий на барана,
Внимательно читает «Фигаро».
В моей руке просохшее перо,
Идти домой еще как будто рано.
Тебе велела я, чтоб ты ушел.
Мне сразу все глаза твои сказали...
Опилки густо устилают пол.
И пахнет спиртом в полукруглом зале.
И это юность – светлая пора
...
Да лучше б я повесилась вчера
Или под поезд бросилась сегодня.
Май – июнь 1911(?) – Конец 1950-х гг.

Париж

Вернувшись летом 1911 года в Слепнево, Анна Андреевна нашла в деревне все то же, что и в прошлом году. Однако вопросов мужу больше не задавала: Машенька была слишком больна, это видели все, кроме Николая Степановича.

Слепнево

Я носила тогда зеленое малахитовое ожерелье и чепчик из тонких кружев. В моей комнате (на север) висела большая икона – Христос в темнице. Узкий диван был таким твердым, что я просыпалась ночью и долго сидела, чтобы отдохнуть... Над диваном висел небольшой портрет Николая I не как у снобов в Петербурге – почти как экзотика, а просто, серьезно – по-онегински («Царей портреты на стене»). Было ли в комнате зеркало – не знаю, забыла. В шкафу остатки старой библиотеки, даже «Северные цветы», и барон Брамбеус, и Руссо. Там я встретила войну 1914 года, там провела последнее лето (1917).

Пристяжная косила глазом и классически выгибала шею. Стихи шли легко свободной поступью. Я ждала письма, которое так и не пришло – никогда не пришло. Я часто видела это письмо во сне; я разрывала конверт, но оно или написано на непонятном языке, или я слепну.

Бабы выходили в поле на работу в домотканых сарафанах, и тогда старухи и топорные девки казались стройнее античных статуй.

В 1911 году я приехала в Слепнево прямо из Парижа, и горбатая прислужница в дамской комнате на вокзале в Бежецке, которая веками знала всех в Слепневе, отказалась признать меня барыней и сказала кому-то: «К слепневским господам хранцужанка приехала», а земский начальник Иван Яковлевич Дерин – очкастый и бородатый увалень, когда оказался моим соседом за столом и умирал от смущенья, не нашел ничего лучшего, чем спросить меня: «Вам, наверно, здесь очень холодно после Египта?» Дело в том, что он слышал, как тамошняя молодежь за сказочную мою худобу и (как им тогда казалось) таинственность называла меня знаменитой лондонской мумией, которая всем приносит несчастье.

Николай Степанович не выносил Слепнева. Зевал, скучал, уезжал в невыясненном направлении. Писал «такая скучная не золотая старина» и наполнял альбом Кузьминых-Караваевых посредственными стихами. Но, однако, там что-то понял и чему-то научился.

Я не каталась верхом и не играла в теннис, а я только собирала грибы в обоих слепневских садах, а за плечами еще пылал Париж в каком-то последнем закате.

Слепневские приятели и приятельницы Гумилева, даже те, кому его выбор показался неудачным, все-таки признавали, что у юной мадам Гумилевой необычная внешность и удивительно «гибкое змеиное тело». Да она и сама не упускала случая продемонстрировать необычную гибкость. В Слепневе Николай Степанович даже поставил для жены цирковой аттракцион: женщина-змея. После этого читалось стихотворение про змею, написанное еще в прошлом году:

* * *

В комнате моей живет красивая
Медленная черная змея;
Как и я, такая же ленивая
И холодная, как я.
Вечером слагаю сказки чудные
На ковре у красного огня,
А она глазами изумрудными
Равнодушно смотрит на меня.
Ночью слышат стонущие жалобы
Мертвые, немые образа...

Я иного, верно, пожелала бы,
Если б не змеиные глаза.
Только утром снова я, покорная,
Таю, словно тонкая свеча...
И тогда сползает лента черная
С низко обнаженного плеча.

1910

Березы

Таких берез еще никто не видел. Мне страшно их вспоминать. Это наваждение. Что-то грозное, трагическое, как «Пергамский алтарь», великолепное и неповторимое. И кажется, там должны быть вороны. И нет ничего лучше на свете, чем эти березы, огромные, могучие, древние, как друиды, и еще древней. Прошло три месяца, а я не могу опомниться, как вчера, но я все-таки не хочу, чтобы это был сон. Они мне нужны настоящие.

* * *

В промежутки между грозами,
Мрачной яркостью богатые,
Над притихшими березами
Облака стоят крылатые.
Чуть гроза на запад спрячется
И настанет тишь чудесная,
А с востока снова катится
Колесница поднебесная.

1910-е гг., Слепнево. Записала на Илью в Комарове, 1961

Лидия Чуковская. «Записки об Анне Ахматовой»

Анна Андреевна рассказывает, как...

«...К ней пришел Кузьмин-Караваев, старик, сосед по Слепневу.

– Мы провели целый вечер втроем: он, я, Левушка, пили вино, перебирали с ним всех слепневских. Когда он ушел, меня вдруг, часа через два, осенило: да ведь он из-за меня стрелялся!

Сидя на постели, большая, тучная, она закрыла лицо руками, и задорно, лукаво сверкнули глаза между пальцев.

Опустила руки.

– Подумайте, целый вечер провели вместе, и я только через два часа вспомнила... Ему было тогда 17 лет, это был красивый молодой человек, студент, подававший надежды.

Она вспоминала что-то далекое, свое, молодое – и хотя речь шла о попытке самоубийства – что-то счастливое... Вспоминала молодость».

Любовь

То змейкой, свернувшись клубком,
У самого сердца колдует,
То целые дни голубком
На белом окошке воркует,
То в иное ярком блеснет,
Почудится в дреме левкоя...
Но верно и тайно ведет
От радости и от покоя.

Умеет так сладко рыдать
В молитве тоскующей скрипки,
И страшно ее угадать
В еще незнакомой улыбке.

24 ноября 1911, Царское Село

* * *

Любовь покоряет обманно
Напевом простым, неискусным.
Еще так недавно-странно
Ты не был седым и грустным.
И когда она улыбалась
В садах твоих, в доме, в поле,
Повсюду тебе казалось,
Что вольный ты и на воле.
Был светел ты, взятый ею
И пивший ее отравы.
Ведь звезды были крупнее,
Ведь пахли иначе травы.
Осенние травы.

Осень 1911, Царское Село

* * *

И мальчик, что играет на волынке,
И девочка, что свой плетет венок,
И две в лесу скрестившихся тропинки,
И в дальнем поле дальний огонек, —
Я вижу все. Я все запоминаю,
Любовно-кротко в сердце берегу.
Лишь одного я никогда не знаю
И даже вспомнить больше не могу.
Я не прошу ни мудрости, ни силы.
О, только дайте греться у огня!
Мне холодно... Крылатый иль бескрылый,
Веселый бог не посетит меня.

30 ноября 1911, Царское Село

Осенью 1911 года Гумилевы вернулись из Слепнева позже обычного: они переехали в новый собственный дом в Царском Селе.

Дом, который присмотрела и вскорости купила Анна Ивановна, выбирался с расчетом на долгую жизнь: чтобы был и вместительным и удобным; свекровь Анны Андреевны гордилась своей репутацией хорошей хозяйки. Молодоженам отвели целый этаж, невестке – отдельную комнату, рядом с рабочим кабинетом мужа и библиотекой. Гостиную, по настоянию Николая

Степановича, обставили в стиле «модерн», для остальных комнат привезли из Слепнева прадедовскую мебель красного дерева. Анна обрадовалась: отдельная комната, теплая, уютная, обставленная старинной мебелью, – как она мечтала о домашнем семейном уюте в годы южной бездомности! Она вообще всю жизнь страстно хотела того, чего у нее ни в детстве, ни потом не было: семейного уюта и «простой домашней жизни». Однако очень скоро уютный дом мужа (все, кто бывал у Гумилевых в Царском Селе, утверждают единогласно, что семья поэта была радушной, устоявшейся, хорошей чиновничьей семьей) стал казаться ей нежилым, наполненным неживыми вещами.

Северные элегии. <Третья>

В том доме было очень страшно жить,
И ни камина свет патриархальный,
Ни колыбелька моего ребенка,
Ни то, что оба молоды мы были
И замыслов исполнены,
Не уменьшало это чувство страха.
И я над ним смеяться научилась
И оставляла капельку вина
И крошки хлеба для того, кто ночью
Собакою царапался у двери
Иль в низкое заглядывал окошко,
В то время, как мы, замолчав, старались
Не видеть, что творится в зазеркалье,
Под чьими тяжеленными шагами
Стонали темной лестницы ступени,
Как о пощаде жалостно моля.
И говорил ты, странно улыбаясь:
«Кого они по лестнице несут?»

Теперь ты там, где знают все, скажи:
Что в этом доме жило кроме нас?

1921

Дело было, конечно, не в вещах, а в людях, и прежде всего в жене старшего из братьев Гумилевых, которая всем своим поведением подчеркивала, что Анна «чуждый элемент»:

«В дом влилось много чуждого элемента... В семье очутились две Анны Андреевны. Я блондинка, А. А. брюнетка... Она держалась в стороне от семьи. Поздно вставала, являлась к завтраку около часа, последняя, и войдя в столовую, говорила: «Здравствуйте все!» За столом большей частью была отсутствующей, потом исчезала в свою комнату либо уезжала в Петербург».

Уезжал с раннего утра в Петербург и Николай Степанович, а возвращался за полночь. Он поступил в университет, а кроме того, активно сотрудничал в журнале «Аполлон».

Парижские приключения, как это ни странно, восстановили супружеское согласие. В томик Теофиля Готье, привезенный из Франции специально для неверного, романтически влюбленного в кузину Николая Степановича, неверная его жена, как бы по забывчивости, вложила романтическое послание от парижского своего поклонника – Модильяни. Николай Сте-

панович пришел в бешенство. Расквитавшись и повинившись, супруги помирились. И вроде бы простили друг другу: он ей – Модильяни и увеселительную прогулку в Париж, она ему – Машеньку и Африку. Тем легче простила, что убедила себя: влюбленности мужа – всего лишь «средство для ярко-певучих стихов», не зря Николай Степанович так часто и с таким нажимом цитировал именно эти строки своего кумира Валерия Брюсова. Отдадим должное Николаю Гумилеву: ни влюбленность в смертельно больную кузину, ни отвращение к «женским истерикам», ни ревность к поклонникам жены, которых становилось все больше и больше, не помешали ему заметить, что написанные Анной за время его отсутствия стихи решительно не похожи на ее прежние девичьи экзерсисы.

Николай Степанович был не первым, кто понял, что Анна Гумилева, которую чуть было не записали в обыкновенные барышни, – поэт. То же самое сказал ей Георгий Чулков, когда, опоздав на царскосельский паровичок, они пили кофе в привокзальном буфете, а она, осмелев от неловкости, стала читать стихи. Читала и в редакции «Аполлона». Один из присутствовавших на этом чтении вспоминал: Анна Андреевна так нервничала, что «от волнения слегка дрожал кончик ее лакированной туфельки». Но вкусу сотрудников «Аполлона» она не очень-то доверяла, а Чулкова, зная его репутацию первостатейного ловеласа, тайно подозревала в том, что тот просто решил приволокнуться, потому и льстит. Изумление и одобрение Николая Степановича совсем другое дело: Гумилев, если речь шла о стихах, не делал скидок никогда и никому и выражал свое мнение «прямо в глаза». Решив, что надо делать книгу, он, не теряя ни дня, приступил к реализации своего решения. Во-первых, подключил к срочному делу и членов созданного по его инициативе «Цеха поэтов», и сочувствующих: предисловие написал поэт Михаил Кузмин, обложку рисовал тоже поэт – «синдик» «Цеха поэтов» Сергей Городецкий, фронтиспис – приятель Кузмина «мирискусник» Евгений Лансере. Издательство «Цех поэтов» было задумано как неперIODический орган новорожденной и сразу же отмежевавшейся от символистов группы акмеистов, лидером которой стал Николай Гумилев. Меценатов решено было не искать из гордости и из принципа, а чтобы удешевить процесс издания, ввели серийное оформление; вышедший одновременно с «Вечером» сборник Михаила Зенкевича «Дикая порфира» внешне был похож на ахматовский, как близнец.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.